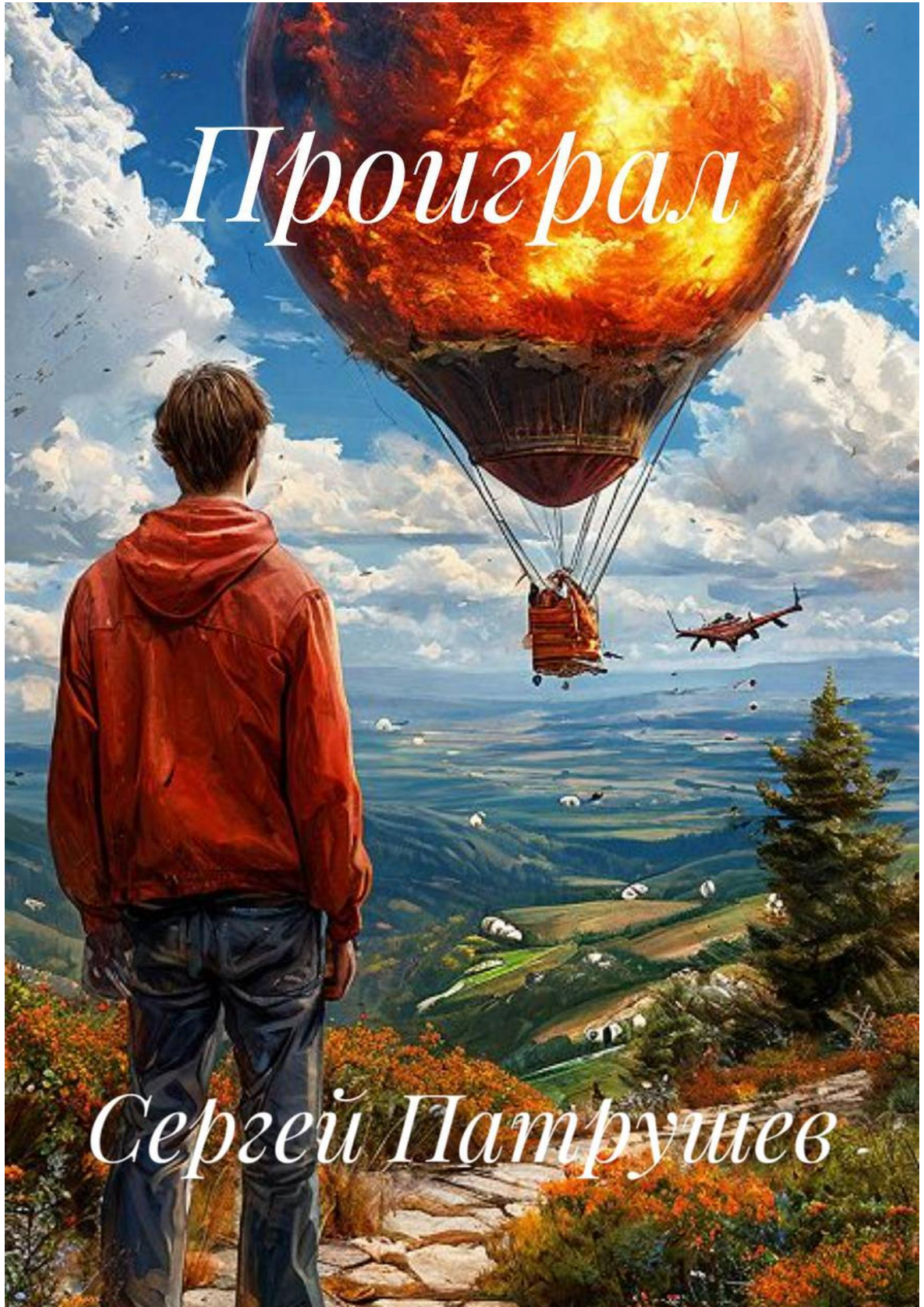


A man in a red jacket and dark pants stands on a rocky path, looking out over a vast, hilly landscape. In the sky, a large hot air balloon is engulfed in bright orange and yellow flames. A small basket hangs from the balloon's ropes. In the distance, a biplane flies across the sky. The scene is set against a blue sky with white clouds.

Проиграл

Сергей Патрушев

Сергей Патрушев

Проиграл

«Автор»

2026

Патрушев С.

Проиграл / С. Патрушев — «Автор», 2026

Алекс с детства знал, что рождён для великих свершений. Побег из нищеты, блестящий университет, команда единомышленников и дерзкая идея, способная изменить мир - его юность озарена огнём мечты, но первый же полёт к солнцу оборачивается катастрофой. За ним последуют десятилетия серой рутины, вторая тайная попытка, новое сокрушительное падение, потеря семьи и полное забвение. И всё же, даже на пороге смерти, всеми покинутый и осмеянный, он продолжает свой путь. Проиграл - это философская драма о человеке, который поставил на кон всё и проиграл по всем статьям, но так ли однозначно поражение? И кто в итоге прожил жизнь полнее? Тот, кто горел и падал, или те, кто тихо тлел, не рискуя поднять голову к небу? История о мечте, абсурде борьбы и праве называться живым.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Эффект Икара	5
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Сергей Патрушев

Проиграл

Глава 1. Эффект Икара

Запах жареного лука и сырого подвала — вот два аромата, которые Алекс ненавидел с самого раннего детства, с тех пор, как его сознание научилось вычленять отдельные ощущения из мутного потока бытия. Они въелись в стены их квартиры на окраине промышленного городка, казалось, намертво, на клеточном уровне. Этот запах был не просто обонятельным раздражителем, он был сложносоставным синестетическим символом. Запах лука означал бесконечную, унижительную экономию, когда мать на протяжении недели готовит огромную кастрюлю супа из пакетика, и к пятнице этот суп прокисает, но его все равно доедают, потому что другого нет. Запах сырого подвала был запахом безысходности, запахом вещей, которые никогда не видели солнца, вещей, обреченных на медленное тление и забвение. Этот запах был синонимом бедности, той липкой, вязкой, передающейся по наследству бедности, когда каждый рубль растягивают до звенящего скрипа нервов, а покупка новой пары обуви к школе превращается в событие поистине вселенского масштаба, в предмет многомесячных обсуждений, страхов и ссор.

Но была у этих запахов и обратная, теневая сторона, которую Алекс открыл для себя довольно рано. Они стали для него лучшим топливом. Самым чистым, самым высокооктановым, самым безжалостным ракетным топливом, какое только можно было вообразить в самых смелых фантазиях. Пока его сверстники привыкали к этому фону, срастались с ним, как с неизбежностью, как с погодой, Алекс, напротив, отторгал его каждой клеткой своего существа. Его обоняние, обостренное до болезненности, стало его компасом, неизменно указывающим на то, откуда надо бежать. Бежать без оглядки. Это была не просто юношеская неприязнь к быту, не брезгливость изнеженного барина. Это было физическое, почти биологическое неприятие среды, которая, как он чувствовал, стремится поглотить его, переварить и превратить в безликую, покорную биомассу, в еще одну безымянную единицу бесконечной статистики неудачников.

Алекс вырос с глубочайшим, непоколебимым, почти мистическим ощущением, что он — не отсюда. Он не из этого гнилого, забытого богом и государством угла земли. Не из этого мира, где предел мечтаний его отца, дяди Коли — бутылка дешевого, обжигающего горло пойла, купленная вскладчину с соседом, и старый, шипящий помехами телевизор, по которому показывают бесконечные ток-шоу с чужими, грязными и скандальными историями. И предел мечтаний его матери — чтобы у неё хоть на одну проклятую неделю перестала раскалываться голова от непосильной работы на трех ставках, от вечного недосыпа, от унижительного страха, что денег не хватит даже на хлеб. Он смотрел на их жизнь, и она казалась ему не трагедией даже, а какой-то чудовищной, затянувшейся скукой, серой лентой одинаковых дней, ведущей из ниоткуда в никуда. В его же груди с самых ранних, полусознанных лет жила странная, вибрирующая, не дающая покоя уверенность. Уверенность в том, что он пришел в этот мир с другой миссией, с другим билетом. Он не был высокомерным или злым, скорее, болезненно, на грани невроза, чувствительным к любой несправедливости, к любой фальши, к любой эстетической убогости окружающего пространства. Он мог часами лежать на своем продавленном диване, пружины которого впивались в спину, глядя в грязный, с облупившейся побел-

кой потолок, и рисовать в своем воображении целые миры. Огромные, светлые, совершенные. Он видел невиданные механизмы, стройные и сложные социальные системы, архитектурные ансамбли, парящие в небе. Его не привлекали простые, понятные и доступные радости сверстников: подержанные машины, манящие, но пугающие девочки с соседнего двора, шумные пьяные тусовки в парке за Домом культуры. Ему было с ними смертельно скучно. Его манили звезды и абстрактные, головокружительные вершины человеческого духа. Он хотел величия. Но не ради денег, власти или личного комфорта. Он хотел оставить после себя след. Не царапину, не отпечаток подошвы на глине, а глубокую борозду, которую будет видно из космоса. Чтобы в тот момент, когда его не станет, мир стал хоть немного, но принципиально, необратимо иным. Лучше. Чище. Выше. Справедливее. Это была удивительно наивная, почти детская, хрустальная жажда, лишенная какой-либо корысти. Но именно из-за своей чистоты она была невероятно, чудовищно сильной. Она слепила его своей белизной. Она отсекала полутона и сомнения. И это опьянение собственной исключительностью, этот наркотик великой миссии в итоге станет его главным, самым тяжелым и самым горьким проклятием. Он шел на свет своей мечты, как мотылек, не замечая, что это пламя способно не только осветить путь, но и испепелить его самого дотла, вместе со всеми, кто ему дорог.

В школе он был странным, неудобным феноменом. Изгоем среди «нормальных» и безоговорочным, харизматичным королем среди таких же, как он — чокнутых, одержимых, не вписывающихся в общую картину. Он не просто решал задачи по физике, о нет. Решение задачи для обычного ученика — это путь от условия к ответу. Для Алекса это был диалог. Он вел с задачами долгие, изматывающие мысленные беседы. Он спорил с Ньютоном, сидя на задней парте и черкая формулы в потрепанной тетради, с жаром доказывая мертвому гению, где его механика дает трещину и где ее можно было бы расширить. Он часами мог объяснять Эйнштейну, представляя его сидящим на стуле напротив, что теория относительности — это не финал, а лишь прекрасное, гениальное начало для совершенно новой физики. Учителя смотрели на него со сложной, плохо скрываемой смесью жалости, ужаса и профессионального раздражения. «Мальчик, тебе бы в ПТУ, на сварщика или токаря, руки-то у тебя золотые, вон какие штуки мастерил из ничего, — сказал ему однажды трудовик, усталый мужчина с вечно промасленными руками и потухшим взглядом. — А головой витать в облаках, гоняться за призраками — это до добра не доведет. Это я тебе точно говорю. Жизнь, она простая штука, и сложностей не любит». Это было сказано после того, как Алекс вместо простой, утилитарной табуретки, которую требовалось сдать по программе, собрал из кучи металлолома, обрезков труб и старой проводки действующую, дьявольски шумную модель паровой турбины, которая, сорвав предохранительный клапан, чуть не разнесла половину школьной мастерской. Но Алекс не обижался на такие слова. Он чувствовал тектоническую, непреодолимую пропасть между ними и почти искренне, по-христиански сочувствовал им. Они просто не видели того, что так ясно, так зримо видел он. Они не чувствовали кожей, как этот мир, кажущийся плотным и неподвижным, на самом деле пронизан мириадами невидимых, сияющих нитей — законов, возможностей, непознанных сил, нереализованных идей. Эти идеи, словно живые существа, роились в эфире и только и ждали, чтобы кто-то достаточно дерзкий, достаточно безумный и свободный от догм схватил одну из них за хвост и вытащил на свет, материализовал в реальности. И он знал, чувствовал каждой клеткой своего существа, что именно он и есть этот дерзкий. Эффект Икара — это ведь не просто красивый миф о физическом полете к солнцу. Это сложное, психологическое, духовное состояние. Это чувство, когда само солнце, сама конечная, казалось бы, цель, начинает казаться тебе не пределом мечтаний, а лишь промежуточной станцией, лишь трамплином для следующего, еще более головокружительного, немыслимого рывка в абсолютную неизвестность. Ты паришь, ты видишь мир с высоты, недоступной никому, и горизонт отодвигается все дальше, маня и обещая все больше.

И в восемнадцать лет, в возрасте, когда большинство его сверстников лениво размышляли, куда бы приткнуться полегче, он совершил свой первый осознанный, судьбоносный, экзистенциальный прыжок. Это был прыжок не просто в новую жизнь, это был прыжок в полную неизвестность, сжигающий за собой все мосты. Он положил на кухонный стол, прямо на липкую, давно не мытую клеенку, исписанную кругами от горячих кружек, свой единственный шанс, свой билет в другую вселенную. Это было официальное, с печатью и подписью, направление в столичный университет, бюджетное место на престижном физическом факультете. Бумага была плотной, почти картонной, и буквы на ней были выведены четким, важным шрифтом. Она казалась артефактом из другого, чистого и правильного мира здесь, среди жирных пятен и крошек.

— Не поедешь, — сказал отец, даже не подняв своих тяжелых, набрякших век, не оторвав взгляда от телевизора, где шла какая-то дурацкая передача. Голос его был глухим и безжизненным, как звук из бочки. — Хватит дурью маяться. Сказки кончились. Семью кормить надо, Алексей. Я в твои годы уже по двенадцать часов у станка стоял. Иди на завод, учеником, пока места есть. Дядька твой, Серега, обещал словечко замолвить. Ремесло в руки получишь, и будешь человеком. А эти твои фантазии... одна блажь.

Мир Алекса в тот момент не просто пошатнулся, он катастрофически, с утробным скрежетом, сжался до размера этого кухонного стола, до этого грязного окурка, сиротливо лежащего в переполненной пепельнице, до этой монотонной, бубнящей интонации отца. Он посмотрел на мать — та стояла, отвернувшись к плите, и по ее сгорбленной спине, по подрагивающим плечам было видно, что она молча, беззвучно плачет, делая вид, что помешивает что-то в кастрюле. От нее он ждал поддержки, ждал хоть какого-то знака, слова, взгляда. Он всегда считал ее своей негласной союзницей. Но увидел в ее напряженной фигуре лишь страх. Древний, животный, парализующий волю страх. Страх, что сын уедет в неведомую, страшную, огромную столицу. Страх, что с ним там обязательно случится что-то плохое, он пропадет, сгинет. Страх, что «без связей, без денег, без поддержки, он там никому не нужен, и его сожрут, как пить дать». Этот страх был ее единственной правдой, и он перечеркивал любую веру в его талант.

Это был момент истины, точка бифуркации. Момент, когда будущее разветвляется, и одна дорога ведет к медленной, гарантированной смерти души, а другая — в неизвестность, полную рисков и чудовищной ответственности. Он мог остаться. Мог сломаться под гнетом этого животного страха и чувства вины. Мог послушаться, стиснуть зубы и превратиться в собственного отца — такого же озлобленного, разочарованного, опустошенного человека, который когда-то, возможно, в далекой, забытой юности, тоже мечтал о чем-то своем, но предал эту мечту, испугавшись, и теперь люто, непримиримо мстит за это предательство самому себе и всему миру вокруг. Это был самый легкий и понятный путь. Путь большинства. Или — прыгнуть. Разорвать эту липкую, удушающую паутину обязательств, страхов и ложных ценностей, даже если этот разрыв причинит адскую, нестерпимую боль ему самому и его близким. Он выбрал прыжок.

На следующее утро, серое и промозглое, он стоял на железнодорожной платформе. В одной руке — потрепанный, еще дедовский фанерный чемодан, где кроме пары застиранных рубашек, смены белья и куска вареной колбасы, заботливо завернутого матерью в газету, лежала его самая главная, его священная ценность — толстая, потрепанная общая тетрадь, исписанная мелким, убористым почерком. Там жили его идеи, его расчеты, его дерзкие гипотезы, его черновики будущего. Никто не пришел его провожать. Он знал, что так будет. Он сам

этого хотел. Он стоял один на продуваемом всеми ветрами перроне, маленькая фигурка напротив огромного, ревущего состава, и чувствовал, как ледяной ветер пронизывает его дешевое пальтишко. Он был свободен. Абсолютно, пугающе, космически свободен. И абсолютно одинок. И впервые за долгие, серые годы, проведенные в удушливом плену безысходности, он вдохнул полной грудью воздух, в котором не было запаха жареного лука, сырого подвала и страха. В нем был другой запах — резкий, колючий, пьянящий запах озона, угольной гари и необъятного, открытого пространства. Запах будущего.

Столица оглушила его. Но не шумом, не суетой, не масштабами зданий, которые давили на сознание своим каменным величием. Она оглушила его концентрацией голодных, ищущих, таких же неприкаянных умов на квадратный метр. Университетское общежитие, эта старая, обшарпанная многоэтажка на окраине города, стала для него не местом для ночлега, а настоящим инкубатором гениев и безумцев. Здесь, в прокуренных, тесных комнатах, среди дикого, первобытного хаоса из проводов, микросхем, пустых банок из-под энергетиков, гор невымытой посуды и разбросанных книг, он нашел свою стаю. Свое племя. Людей, которые смотрели на мир тем же голодным взглядом.

Их было четверо. Четыре стихии, сошедшиеся в одной точке пространства и времени. Виктор — флегматичный, молчаливый, немного не от мира сего гений чистого программирования. Его мозг был устроен как-то иначе, не по-человечески. Он мог в уме, отрешенно глядя в одну точку, взламывать алгоритмы любой, даже запредельной сложности, находить элегантнейшие математические решения там, где другие бились месяцами. Но в быту он был абсолютно, катастрофически беспомощен, как дитя. Он мог неделями ходить в одной и той же растянутой, пахнущей потом футболке и забыть поесть за трое суток, увлекшись решением какой-нибудь абстрактной, никому не нужной, кроме него, задачи. Мир вещей для него не существовал. Существовал только мир чистых идей. Лена — его полная противоположность и необходимое дополнение. Острая на язык, язвительная, скептическая до мозга костей девушка с кафедры теоретической физики. Ее блестящий, холодный ум работал как идеальный скальпель. Ее цинизм и вечная ироничная полуулыбка были лишь защитной броней, за которой скрывалась столь же нежная, ранимая и страстная душа мечтателя, возможно, еще более уязвимая, чем у самого Алекса. Она могла за три минуты, не повышая голоса, в пух и прах разнести любую, самую красивую и выстраданную идею Алекса, указав на слабое место с убийственной точностью. Это бесило, выводило из себя, но именно это заставляло его думать глубже, искать железные, непробиваемые обоснования, отбрасывать красивую, но пустую шелуху фантазий. Она была его самым жестким и самым ценным критиком. И Димка — вечный романтик, балагур, душа компании, гуманный, непостижимым образом затесавшийся в их сугубо технарскую компанию. Он не понимал ни слова, ни единой формулы из их многочасовых, жарких споров. Но именно он, со своим обостренным чувством прекрасного, с душой поэта, видел ту высшую, почти божественную красоту, которую они, погруженные с головой в дебри математических абстракций, часто упускали. Он мог неожиданно прервать их спор, хлопнуть ладонью по столу и сказать: «Ребята, остановитесь. Вы сейчас не просто энергию будущего обсуждаете, не просто КПД какого-то контура. Вы о судьбе человечества говорите, понимаете? О том, что люди наконец-то перестанут убивать друг друга за ресурсы, за нефть, за уран. Вы поэзию творите, самую высокую, какая только есть, только вместо слов у вас — чистые уравнения. Это же гениально!». И он был чертовски прав.

Их объединила не просто дружба, не общность интересов. Их объединила общая, почти религиозная, сектантская вера в то, что они — иные. Что они смогут сделать то, что не удалось поколениям до них. Что им дано больше, а значит, и спрос с них будет строже. Они сами, с

юношеским максимализмом и вызовом, назвали себя «Резонанс». Их безусловным центром, их солнцем, вокруг которого вращались эти три удивительные планеты, был Алекс. Он не был самым умным в академическом смысле. Виктор превосходил его в чистой, бесстрастной логике и скорости вычислений. Лена была на голову выше в глубине и системности теоретических познаний. Но у Алекса был тот редчайший, почти мистический дар, который дается единицам на поколение: он был харизматиком высшей пробы. Он умел зажигать огонь в глазах. Когда он говорил о своей идее, он преображался. Его лицо озарялось внутренним светом, его голос вибрировал от страсти, он начинал мерить шагами комнату, рубя воздух руками. Он не просто излагал концепцию, он ее проживал прямо здесь и сейчас. Он рисовал грандиозные, захватывающие дух картины будущего не сухими мазками кода, а широкими, яркими, эмоциональными полотнами, полными деталей и жизни. Он говорил о мире, где энергия станет почти бесплатной и доступной каждому, как воздух. Где исчезнет сама экономическая и, как следствие, политическая причина для войн, голода и нищеты. Где человек, освобожденный от рабского труда за кусок хлеба, наконец-то сможет заняться своим истинным предназначением — творчеством, исследованием космоса, самопознанием. Он не предлагал им решить сложную научную задачу. Он предлагал им смысл жизни. Великий, благородный, пьянящий смысл для всех них, юных, неприкаянных, отчаянно ищущих себя и свое место в этом огромном, равнодушном мире. И они пошли за ним без тени сомнения, без оглядки, потому что невозможно, немыслимо не пойти за человеком, который сам абсолютно, беззаветно, до самого дна души верит в то, что говорит. Его вера была заразительна, как вирус. И она стала их общим вирусом, их благословением и их проклятием.

Идея родилась не из учебника, не из статьи в научном журнале, а из дерзости. Из чистого, незамутненного вызова. Вся современная энергетика, говорил Алекс, собрав их как-то вечером в своей комнате, это жалкое, трусливое топтание на месте. Мы не покоряем природу, мы просто бессовестно грабим ее кладовые. Мы сжигаем древние останки органической жизни, отравляя собственную колыбель, мы трясемся от страха перед мирным атомом, а так называемые «зеленые» источники — солнце и ветер — ненадежны, капризны и зависят от погоды. Это путь инерции, путь бесконечных компромиссов. Это путь трусов, которые боятся по-настоящему дерзкой мысли. А что, если источник энергии не где-то там, не в нефтяной скважине и не в урановом руднике? Что, если он повсюду? Он пронизывает само пространство-время, он присутствует в каждой точке вселенной. И нам нужно не создавать его, не добывать, а просто научиться настраиваться на него, как сложный радиоприемник настраивается на свою волну, и извлекать колоссальную, немыслимую мощь буквально из ничего. Из самой темной, неизученной ткани мироздания.

Весь официальный научный мир, все их закоряченные профессора назвали бы это лженаукой, бредом, мистикой. Но Алекс был упрям и подкован. Он напирал на самые передовые, малоизученные, спекулятивные области: на странные квантовые эффекты запутанности, на феномен темной энергии, которая, согласно общепринятой теории, составляет большую часть вселенной, но о которой мы не знаем ровным счетом ничего, на дерзкие и противоречивые гипотезы теории струн. Он как скупщик краденого, брал все самое смелое, непонятное, неподтвержденное с переднего края науки, все, от чего академики лишь пренебрежительно отмахивались, и сплетал из этого лоскутного одеяла свою собственную, парадоксально стройную, внутренне непротиворечивую и невероятно красивую теорию. Он назвал её «Осциллятор Фролова» — в честь своего деда по материнской линии, тихого, безвестного изобретателя-самоучки, который всю жизнь мастерил в гараже вечные двигатели и так и умер непризнанным, осмеянным соседями. Для Алекса это имя было сакральным. Это была не просто научная идея, не просто инженерная конструкция. Это был вызов. Вызов всей костной научной пара-

дигме. Вызов сытым, самодовольным консерваторам. Вызов самой безжалостной судьбе, которая, казалось, предопределила ему, как и его деду, родиться, прожить и умереть в неизвестности и нищете.

Тот год стал лучшим в его жизни. Годом, когда его восковые крылья были еще крепки и не тронуты губительным жаром. Годом, когда они вчетвером запирались в тесной, душной лаборатории, которую с боем, используя все свое невероятное гуманитарное обаяние и дипломатию, выбил у замшелого деканата Димка. Они работали сутками напролет, забывая о сне, о еде, о времени суток за окном. Воздух в лаборатории был спертый и тяжелым, он был наэлектризован до предела — не столько от их катушек и генераторов, сколько от их общей, спрессованной, почти осязаемой веры. Это было чувство братства, чувство локтя, чувство совместного полета. Они спорили до хрипоты, разбивая свои же аргументы, снова собирая их в новом порядке, мирились, обижались, снова спорили. Виктор, не разгибая спины, сутками строил сложнейшие математические модели реальности, переводя поэзию Алекса на строгий язык цифр. Лена, словно цепной пес, тут же находила в этих моделях малейшую, почти незаметную трещину, логическую ошибку, допущение, и с холодной жесткостью указывала на нее. Алекс, вместо того чтобы обижаться, воспарял духом и латал эту брешь новой, еще более сумасшедшей и смелой гипотезой, и они вместе, всей командой, бросались в новый интеллектуальный штурм. А Димка варил им литрами крепчайший, горький кофе, следил, чтобы они хоть иногда ели, и за полночь, когда мозги уже закипали, читал им вслух своих любимых поэтов — Бродского, Мандельштама, Рильке, — чтобы, как он говорил, «не дать вашим гениальным мозгам окончательно превратиться в сухие, бездушные калькуляторы, лишенные чувства космической иронии». Это был идеальный симбиоз, гармония четырех начал. Они были единым организмом, единым, дерзким, гениальным мозгом, нацеленным на решение, казалось бы, невозможной, фантастической задачи.

И однажды ночью, когда за окнами уже брезжил мутный, молочный зимний рассвет, им показалось, что невозможное произошло. Они сидели в кромешной тьме лаборатории, свет был выключен специально. Пространство освещалось лишь призрачным, инопланетным сиянием мониторов и десятков крошечных, подмигивающих индикаторов на их приборе. Прототип, собранный на скорую руку из откровенного хлама, старых деталей и чистой интуиции, был неказист и даже уродлив: хаотичное сплетение медных катушек, вздутых конденсаторов, переливающихся гранями дешевых кристаллов кварца, спаянных кое-как. К этому монстру Франкенштейна был подведен простой, самый обычный светодиод — контрольная лампа их надежды. Алекс, стараясь унять дрожь в пальцах, глубоко вздохнув, словно перед прыжком в воду, замкнул контакт. И в этот миг на долю секунды, на ничтожный, неуловимый для приборов миг, светодиод вспыхнул. Но вспыхнул он не просто светом. Вспышка была невероятной, какой-то сверхъестественной, пронзительно-белой, с легким голубоватым отливом. Она залила всю комнату, вырвав из тьмы их бледные, изумленные, повернутые к установке лица. Свет был странным, он был каким-то... густым, почти осязаемым, как студень. И в этот же самый миг лампочка сгорела с тихим, жалобным хлопком, дорогостоящая аппаратура вокруг судорожно щелкнула, и воцарилась абсолютная, звенящая темнота и тишина. Они стояли молча, парализованные, не дыша, боясь спугнуть то, что только что видели. Каждый слышал только бешеный стук собственного сердца. Потом в тишине раздался дрожащий, севший от волнения шепот Димки: «Господи Иисусе... что это, мать вашу, было?.. Вы это видели?! Скажите мне, что вы это видели, и я не сошел с ума». Видели все. Но никто из них, даже Лена, не мог с научной достоверностью понять, что именно они видели. Случайный, непредсказуемый сбой в цепи? Мощная электрическая наводка от какого-то оборудования за стеной? Или... оно? То самое, ради чего они здесь и собрались? Энергия из ничего? Чистая мощь вакуума? Эта вспышка,

этот миг ослепительного, призрачного чуда, стала моментом коллективного помешательства, сладкого и губительного безумия, которое полностью, без остатка захватило «Резонанс». Они забыли об осторожности, забыли о строгом научном методе, требующем повторяемости и проверки. Они перестали быть учеными. Они стали свидетелями чуда, и это лишило их способности мыслить критически. И Алекс, ослепленный этим чудом больше всех, в состоянии опаснейшей эйфории принял роковое, катастрофическое решение. Он решил, что проект готов. Что теория верна. И осталось лишь масштабировать успех.

С этого именно момента, с этой отправной точки ослепления, и началось их стремительное, неумолимое падение. Это было падение Икара, но не из-за того, что воск растаял под лучами солнца. Их солнцем, тем безжалостным, испепеляющим светилом, которое их сожгло дотла, стали деньги. Вернее, их азартная, слепая погоня за ними. Чтобы построить не игрушечный прототип, а полномасштабный, действующий промышленный аппарат, способный запитать не светодиод, а целый дом, квартал, город, требовались совершенно другие, колоссальные, астрономические средства. И Алекс, с той же неистовой, неукротимой страстью, с какой он жил и дышал чистой наукой, бросился в чуждый и враждебный ему мир бизнеса, инвестиций и контрактов. Здесь, в этом мире акул, его сверкающий, хрустальный идеализм столкнулся с грубым, циничным, непробиваемым материализмом, и это была не битва, это была бойня на выживание. Первыми, кто клюнул на его пламенные, зажигательные речи, на его горящие глаза и красивые графики, стали два молодых, наглых «инвестора», владельцы сети грязных автомоек на окраинах. Они, разумеется, ничего не поняли из его сложнейших формул, выкладок и графиков. Но их цепкий, звериный ум мгновенно вычленил и ухватил главное, золотое слово — «бесплатная». Бесплатная энергия. Они увидели в этом не спасение человечества и новую эру процветания, а личное, шкурное спасение от налогов, от капризов поставщиков электричества, от лишних расходов. Они дали деньги под дикий, грабительский процент, свято уверенные в своей безнаказанности, в том, что они срывают джекпот, оседлали технологию будущего. На эти деньги Алекс и его команда сняли огромный, промерзший, продуваемый всеми ветрами ангар в заброшенной промзоне за городом. Там, в грязи, холоде и постоянном страхе, они начали строить свой монумент мечте — «Генератор-1». Это был уже не хрупкий, игрушечный прототип, а массивное, двухметровое, угрожающе гудящее сооружение, опутанное километрами толстых кабелей, трубами системы охлаждения, с дорогостоящими титановыми сердечниками и сложнейшей, умной электронной начинкой. Установка больше напоминала безумную инсталляцию современного художника-авангардиста на тему техногенной катастрофы, чем строгий научный прибор. Виктор, который отвечал за математическое моделирование, все чаще мрачнел и хмурился, глядя на противоречивые результаты тестов и расчетов. Его стройная математическая модель, которой он так гордился, давала сбои, не сходилась с реальностью, на границах допущений появлялись пугающие, непонятные артефакты. Он пытался осторожно, боясь разрушить веру друга, говорить Алексу, что им нужно больше времени на фундаментальную доработку теории, что они слишком спешат, что они идут вслепую, и та ночная вспышка в лаборатории может с огромной вероятностью оказаться простой, случайной ошибкой измерений, наводкой, чем угодно. Но Алекс, упоенный близостью триумфа, больше не слушал своего друга. Он уже вкусил отравленный плод славы. О них и их «прорыве» написали несколько мелких, падких на сенсации научно-популярных блогов и городских газетенок. Приезжали настойчивые журналисты, совали в лицо диктофоны. Он давал интервью, позировал на фоне своего детища, и каждый раз, рассказывая о скором, неизбежном перевороте в мировой энергетике, он верил самому себе всё сильнее. Это был страшный, самоподдерживающийся механизм самообмана. Он уже не мог остановиться, не мог дать задний ход. Признать, что требуется пауза, что он поторопился, что он ошибался, значило для него признать свое полное и окончательное поражение, признать, что его отец, которого он так прези-

рал, был абсолютно прав. Этого экзистенциального позора он позволить себе не мог. Это было выше его сил.

Давление инвесторов, чувявших запах наживы, нарастало с каждым днем. Их бычьи шеи багровели, кулаки сжимались. Они требовали результата, «выхлопа», отдачи. Их не интересовали тонкие материи, «погрешности» и «промежуточные итоги». Они хотели увидеть своими глазами, как их чертова лампочка загорается от великой и красивой идеи. И Алекс, загнанный в угол, назначил дату публичной демонстрации. Это был его второй и, как он чувствовал нутром, возможно, последний прыжок веры. За день до роковой демонстрации Лена, запев его в темном углу ангара, подальше от чужих ушей, прямо и жестко, как она умела, высказала ему все. Ее голос дрожал не от страха, а от еле сдерживаемого гнева и отчаяния: «Саша, я прошу тебя, остановись. Пока не поздно. Ты ведешь не только себя, ты ведешь всех нас к катастрофе. Машина не работает. Слышишь меня?! Она не просто не выходит на расчетные мощности, она нестабильна и откровенно опасна. Резонансный контур непредсказуем. Если мы запустим ее завтра на полную мощность, как ты обещал этим бандитам, последствия будут непредсказуемы. Мы не Икары, Саша. Мы всего лишь глупые, самонадеянные дети, которые заигрались с огнем». В ее глазах, обычно таких ироничных и холодных, стояли самые настоящие слезы — слезы не злости и не обиды, а ледящего, животного страха. Страх за него, тупого и упрямого, за себя, за них всех, за их общую, такую хрупкую, выстраданную мечту, которая сейчас грозила превратиться в орудие убийства. Но Алекс в своем ослеплении уже ничего не слышал. Он был глух и слеп. Он видел в ее словах не искреннюю заботу, а лишь зависть, сомнение и подлое малодушие. Он, ослепленный собственным отражением в зеркале будущей славы, которое сам же и создал, грубо оттолкнул ее. «Ты просто боишься величия, — бросил он ей в лицо фразу, страшную и несправедливую, о которой будет жалеть и которую будет прокручивать в голове всю свою оставшуюся, разбитую жизнь. — Ты боишься, что твоя роль будет меньше моей». Эту фразу невозможно забыть. Она как каленое железо выжгла что-то важное в их отношениях. Она стала его персональным клеймом Каина. Лена ничего не ответила. Она просто посмотрела на него долгим, изучающим взглядом, в котором читался приговор, молча развернулась и, не попрощавшись, вышла из ангара в холодную ночь. Димка бросился за ней, умоляя ее вернуться, остаться, но было уже поздно. «Резонанс», их идеальный союз, начал свой необратимый распад накануне своего мнимого триумфа.

День демонстрации был обставлен безвкусно и пошло, как дешевое цирковое шоу. В ангар, который они считали храмом науки, набились посторонние. Приехали те самые инвесторы-автомойщики, на этот раз в сопровождении каких-то мрачных, угрюмых типов в черных кожаных куртках, от которых за версту разило криминалом, дешевым табаком и невысказанной угрозой. Приехали несколько блогеров с любительскими камерами, в погоне за дешевой сенсацией. Алекс, смертельно бледный, но с горящими маниакальным огнем глазами, сам встал за пульт управления, словно капитан тонущего корабля. Виктор, затравленно озираясь по сторонам, с трясущимися руками, страховал его с ноутбука, тихо, одними губами, молясь всем богам, чтобы его расчеты, в которые он сам уже не верил, хоть как-то сработали. Димка просто стоял, вжавшись спиной в холодную бетонную стену, сжавшись в комок, втянув голову в плечи. Его лицо было блее мела. Он не разбирался в технике, но он был поэтом и своим открытым сердцем чуял приближение трагедии раньше, чем любые физики могли бы зафиксировать аномалии на своих приборах.

Алекс нажал рубильник. Раздался тяжелый, глухой удар пускателя. Сначала не происходило ничего. Абсолютно ничего. Массивная, железная конструкция «Генератора-1» угрюмо и презрительно молчала. В толпе зрителей послышался ропот, полный разочарования и злорад-

ства. Но потом по залу прокатился низкий, утробный, инфразвуковой гул, который не столько был слышен ушами, сколько ощущался телом, нарастающей, невыносимой вибрацией в костях и зубах. Лампы под высоким потолком ангара начали ритмично моргать, погружая помещение в пульсирующий, безумный полумрак. Это было начало конца. Стрелки на всех приборах синхронно, как по команде, зашкалили, уперлись в ограничители. Низкий гул перерос в душераздирающий, режущий слух высокочастотный вой, похожий на предсмертный крик раненого зверя. Алекс судорожно пытался управлять процессом, его пальцы летали над клавиатурой и тумблерами, но система окончательно и бесповоротно вышла из-под контроля за долю секунды. Машина, его гордость и его дитя, ожила своей собственной, злой, хаотичной и разрушительной жизнью.

Взрыв, когда он произошел, был до жути тихим и оттого еще более страшным и противоестественным. Это был не грохот динамита, не гул газового баллона, а резкий, сухой хлопок схлопывающегося вакуума, сопровождаемый ослепительной, дуговой вспышкой, похожей на маленькую, рукотворную молнию. Взрывная волна была странной: она не просто сбила с ног и отбросила людей, она пронеслась сквозь их тела, заставляя внутренние органы на долю секунды завибрировать в опасном, смертельном резонансе. Ангар наполнился едким, удушливым дымом, запахом горелой изоляции и плавленого металла. Оглушенный, полуослепший, с противным звоном в ушах, Алекс с трудом поднялся с грязного бетонного пола. Сквозь пелену дыма, сквозь красную пелену боли, он увидел картину абсолютного, тотального разгрома. Их гордость, «Генератор-1», представлял собой искореженную, оплавленную, дымящуюся грудку металлолома. Дорогостоящее оборудование, купленное на последние деньги, было уничтожено. Титан, который должен был стать сердцем новой эры, был оплавлен и деформирован, как детский пластилин, побывавший в костре. Где-то рядом кто-то истошно стонал от боли. Он, шатаясь, кинулся на звук. Виктор сидел, привалившись спиной к стене, баюкая правую руку. По его лицу градом катился пот, а из уха тонкой струйкой текла кровь. Его длинные, музыкальные пальцы были неестественно, страшно вывернуты — результат короткого замыкания в его собственном диагностическом оборудовании, которое он не успел отпустить. Димка, бледный как полотно, с огромными, расширенными от первобытного ужаса зрачками, уже помогал подняться одному из инвесторов, который дико, грязно матерился, прижимая к рассеченной брови окровавленный носовой платок.

Но самое страшное, самое сокрушительное Алекс увидел не в искореженном металле и не в крови друга. Он увидел это в глазах тех людей, которые еще минуту назад смотрели на него с обожанием и надеждой. Теперь в этих глазах плескался ледяной, концентрированный ужас, брезгливое презрение и животная, неконтролируемая ярость обманутых хищников. Блогеры, вместо того чтобы снимать триумф, жадно, с восторгом снимали катастрофу, его позор, который завтра разлетится по всему интернету. Криминальные партнеры инвесторов, не проронив ни слова, не высказав никаких претензий, что было самым страшным, синхронно развернулись и молча вышли из ангара. Их молчание было страшнее любых угроз, оно обещало долгую и мучительную расплату. Инвесторы, чья «золотая лампочка» так и не загорелась, ради которой они рискнули деньгами, даже не смотрели на него. Они смотрели остановившимся, полным боли взглядом на грудку дымящегося металлолома, в которую бесследно превратились их деньги. Иллюзия, прекрасная, хрустальная, так заботливо выстроенная, разбилась вдребезги в один момент. Осциллятор Фролова оказался не гениальным прорывом, а опасной, сырой, непродуманной игрушкой, которая чуть не убила своих создателей и всех, кто находился рядом. Эффект Икара сработал в точности, с пугающей достоверностью, как в древнем мифе. Только солнце, которое безжалостно расплавало скрепляющий воск его крыльев, было не славой и не деньгами. Им стала его собственная, непомерная, раздувшаяся до

небес слепая гордыня. Он перепутал свою внутреннюю, психологическую уверенность в себе с холодной, неопровержимой научной обоснованностью. Он перепутал свой редкий талант зажигать человеческие сердца с реальным умением создавать надежные, работающие машины. Он посмотрел на свои дрожащие, израненные руки. Руки, которые должны были изменить мир. Он только что предал всех, кто в него поверил. Он предал Виктора, который ставил на карту свою карьеру ученого и свои здоровые руки. Он предал Лену, чей пророческий, полный боли голос он не захотел услышать и которую он так жестоко оскорбил. Он предал доброго Димку, который верил в красоту его замысла и не требовал ничего взамен. Он проиграл. Не тихо, не глухо, не на бумаге. А с чудовищным грохотом, с кровью, с увечьями и с вселенским, невыносимым позором.

Именно тогда, стоя в оцепенении посреди дымящихся руин своей великой мечты, в едком, разъедающем легкие дыму и под аккомпанемент чужой боли, молодой Алекс Фролов усвоил страшный и бесконечно горький, отрезвляющий урок. Мечта — это не просто светлая, манящая цель. Это жестокое, ненасытное чудовище, требующее постоянных, кровавых жертв. И самая первая, самая лакомая жертва, которую оно пожирает с особой жестокостью и без остатка — это истина. Правда о себе и о своих фундаментальных, человеческих ограничениях. Он жаждал света и величия для всего мира, а породил лишь тьму, боль и разрушение для тех, кто был рядом. И с этого самого дня, с этой минуты его путь превратился не в триумфальное восхождение к сияющим вершинам, а в долгое, мучительное, длиною в целую жизнь искупление, которое растянется на многие десятилетия. Но тогда, в свои двадцать с небольшим, стоя на пепелище своих амбиций, он еще не знал, не мог вообразить, что это было лишь первое, самое громкое и заметное, но далеко не последнее и не самое глубокое его падение. И что настоящее дно, холодное, липкое, беспросветное, ждет его далеко впереди, когда он останется совсем один, лишенный всего, что любил, и его восковые крылья окончательно растворятся во мраке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.